

В.Г. КОРОЛЕНКО
(1853—1921)

Мултанское жертвоприношение

I

1 октября 1895 года в 4 часа 50 минут вечера в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось... Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.

Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.

Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултани, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуманном заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?».

На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:

— Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения. Относительно троих к этой формуле было прибавлено:

— И заслуживает снисхождения.

Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то

внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.

Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились...

— Крестос страдал... — прошептал он с усилием. Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.

— Крестос страдал, — зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, с слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый.

— Крестос страдал, нам страдать надо... — шопотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее — одно отчаяние и гибель. Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.

— Дети, дети! — воскликнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо...

Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых

присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.

Публика двигалась взад и вперед, как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в котором посередине комнаты, окруженный желтыми огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.

Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив голову на руки; дамы из публики смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.

Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал, — публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшись у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.

— Православной! — говорил он. — Бога ради, ради Христа... Коди кабак, коди кабак, сделай милость.

— Тронулся старик, — сказал кто-то с сожалением.

— Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может скажут. Христа ради... кабак коди, слушай...

— Уведите их в коридор, — распорядился кто-то из судейских. Обвиняемых вывели из зала...

II

Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы. Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в Европейской России среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русским одной и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений! Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан — глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая, — то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пяти — десяти верстах от большой пристани Вятские Поляны, на реке Вятке, и в полуторах десятках верст от большого пермско-казанского тракта. В Старом Мултане вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе... Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов, — местный торговец, староста мултанской церкви...

Если вы подумаете, далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной

случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибаетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части неизвестно откуда исходящих, — слухов о том, что среди вотяков *вообще* сохранился обычай человеческих жертвоприношений. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна будто бы для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «вавожского края»... Этого мало. Ученый эксперт казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исходившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческой жизнью... Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-учителя, наконец, в роли священника из

Вятского края, — и вы сразу *почувствуете* все ужасное значение этого приговора.

Предполагаю, что у учителя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм... В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибленный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом... «Что же мудреного, — спрашивает у меня один корреспондент, — что вотяки полуязычники, которые, вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы, — могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?».

Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны, — и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать-двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же? Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи... Слыхали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами! Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?

Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оставим также и церковно-

приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общию жизнью с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом — расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал — это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически, — между нами приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в Ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры...

Далее, я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионеров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. Я приведу ниже молитву, которая произносилась в начале настоящего столетия на огромном жертвоприношении черемис их *картами* (жрецами), и вы увидите, какому богу она приносилась и как сама она далека уже от каннибальских заклинаний. Наконец, между этим последним язычником и инородцем-христианином, более столетия уже обращенным, — является еще одна, еще новая градация...

Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь, — все-таки они не могли не отдалить

инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. <...>

И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае — это убийство суеверное?

Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при котором молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае, — спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Каннибализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру...

Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячелетия.

Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это — не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.

Но если это так, — то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равносильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенесите мыслью в положение вотяка, сколько-нибудь сознательно

относящегося к этому обвинению, — и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, неспособных вековым общением облагородить соседа-инородца хотя бы до степени невозможности каннибализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Каннибализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии человеческого типа... Существование языческих обрядов не может еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.

Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы, — но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек, — нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ... Но прежде всего: действительно ли этот культ существует... Нужно, чтобы рассеялся этот густой туман, эта туча недоумения, нависшая над мрачной драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями...